ГРАНИ

GRANI

174

1994

Verlagsort: Frankfurt/M, Oktober-Dezember

ГРАНИ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XLIX № 174 1994

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Александр **ЗАКУРЕНКО**
Иринола. Вечер с одалиской *(Рассказы)* 5

Виктор **ОБУХОВ**
Обрывки 1994 года (*Стихи*) 58

Алексей **ВАРЛАМОВ**
Старое. Тутаев. Чистая Муся. (*Рассказы*) 67

Алексей **КУБРИК**
"Параллельные места" (*Стихи*) 99

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Евгений **БЛАЖЕЕВ**
Роман Булгакова как опыт русской бездны 109

Мария **ШНЕЕРСОН**
По разным дорогам – в одном направлении
(*А. Твардовский – А. Солженицын*) 126

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Леонид **КЕРБЕР (Г. ОЗЕРОВ)**
На воле (*Вторая часть воспоминаний автора "Туполевской шараги"*) 164

Сергей **БЕЛОВ**
Новое о Ф. М. Достоевском в архивах США 225

ЭКОНОМИКА

Борис **ГАБЕ**
Социальная сторона проблем российской экономики
(*Окончание. Начало в предыдущем номере*) 242

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

Владимир **МАХНАЧ**
Имперская традиция в России 275

Сергей **ФЕДЯКИН**
"Литература для себя" *или*
Когда психология вытесняет культурологию 298

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Николай **ОСИПОВ**
Святые демоны
(В. М. Зензинов. "Пережитое". Изд. им. Чехова. Нью-Йорк, 1953) 303

СОДЕРЖАНИЕ "ГРАНЕЙ" №№ 171-174 за 1994 год 309

Обложка работы художника Н. Мишаткина

Мария ШНЕЕРСОН

По разным дорогам - в одном направлении

Будущим историкам предстоит исследовать, как исподволь, постепенно готовился крах коммунистической системы, как пробуждалось общественное сознание, раскрепощалась мысль и какова была роль литературы в этом процессе.

Исключительный интерес представляют центральные фигуры шестидесятых годов: автор "Одного дня Ивана Денисовича" и редактор "Нового мира", опубликовавший это произведение. "Твардовский и Солженицын - большая, исторически содержательная тема /.../ - писал Ю. Буртин, один из сотрудников Твардовского. - ...Опыт жизни и деятельности этих двух писателей, логика их духовного саморазвития представляют, на мой взгляд, особую ценность". Буртин отмечал, однако, что тема эта еще недостаточно изучена[1].

О сложных взаимоотношениях "властителей наших дум" впервые мы узнали в середине 70-х годов, когда появилась автобиографическая книга А. И. Солженицына "Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни"[2]. Многое тогда показалось неожиданным в этой вещи. И лишь теперь становится понятным, какие обстоятельства наложили на нее отпечаток.

К работе над очерками Солженицын приступил после того, как в "Укрывище" был завершен "Архипелаг ГУЛАГ", и незадолго перед тем, как он пошел в открытое наступление, обратившись с письмом к IV съезду писателей.

"И не знаю, что будет, даже буду ли жив. Или шея напрочь, или петля пополам", - такими словами завершается основной текст "Теленка", за которым позже последовали Дополнения. Таким образом, это произведение было задумано как своего рода предсмертная исповедь: на пороге грозных событий писатель решил "кое-что на всякий случай объяснить".

Важно учесть и другое. Изначальная часть "Теленка" написана вскоре после встречи с Твардовским (она состоялась 14 марта 1967 г., а очерки Солженицын начал писать 7 апреля). Это было время резкого обострения взаимоотношений обоих писателей. "...Круто и необратимо разбежались наши литературы", - решил Солженицын после встречи. Легко можно себе представить, в каком настроении он приступил к воспоминаниям о недавнем прошлом, которые еще жгли душу.

"Выйдя из боя", оказавшись в изгнании, Солженицын многое оценил по-новому. Он написал об этом в отрывках из Шестого Дополнения "Еще о Новом мире " (сентябрь 1978 г.) и из Седьмого Дополнения (май 1982 г.). Здесь говорится: "...при захваченности моим драконовым состязанием я был в позиции, мало удобной для спокойных наблюдений. Да, конечно, я давал простор нетерпеливым оценкам боя". Лишь позже, оглянувшись, смог он разглядеть в Твардовском то, "чего не видел рядом с ним в пылу борьбы". (Замечу, что и в начале восьмидесятых Солженицын не знал того, что открылось в недавних публикациях.)

"Бодался теленок с дубом" многими был принят в штыки[4]. Ведь критики не представляли себе реальной ситуации, в которой создавалась эта книга. Картина прояснилась 16 лет спустя, когда было напечатано Пятое Дополнение - "Невидимки"[5], где Солженицын впервые рассказал о своей потаенной деятельности и о своих многочисленных помощниках. Только теперь мы видим, каков был размах этой деятельности, с каким риском и с какими трудностями она была сопряжена. Мог ли автор автобиографических

очерков сохранять спокойную объективность? Имел ли возможность беспристрастно анализировать свои отношения с Твардовским и его журналом? И, с другой стороны, могли ли редактор "Нового мира" и его сотрудники представить себе, какому риску подвергается Солженицын, какая опасность грозит ему, как он должен был осторожен. Взаимное непонимание было неизбежным, и в такой ситуации нет ни правых, ни виноватых.

Дополнительный свет на события проливают и другие публикации конца 80-х - начала 90-х годов. Во многом по-новому раскрывается личность Твардовского в его дневниках за 1953-1960 гг., названных им "Рабочие тетради", которые увидели свет в 1989 году[6]. Исключительный интерес представляют опубликованные год спустя стенограммы Секретариата Союза писателей СССР[7]. Важнейший материал содержит "Новомирский дневник" А. Кондратовича - второго заместителя главного редактора, проработавшего с Твардовским около шестнадцати лет[8]. Автор дневника вел записи по горячим следам, добросовестно освещая жизнь журнала в самую трудную пору (1967-1970). Интересны и позднейшие добавления к дневнику, которые Кондратович делал в 70-е годы до и после знакомства с "Теленком".

Быть может, не всё из опубликованного дошло до автора этих строк. Без сомнения, будут появляться и новые материалы. Но и перечисленные публикации дают возможность сделать некоторые существенные выводы.

* * *

Какими разными путями шли они к встрече и какими были разными, когда их свела судьба! В значительной мере это определило драматизм последующих взаимоотношений. Удивляться надо не тому, что Твардовский и Солженицын так и не смогли до конца понять друг друга, а тому, что они близко сошлись, несмотря на все различия.

В юности комсомолец Солженицын, как и комсомолец Твардовский, был отравлен идеологическим дурманом. В

переписке с другом, послужившей причиной его ареста во время войны, Солженицын во всех бедах обвинял "Пахана"-Сталина и ратовал за "очищенный социализм". Молодой офицер верил в "правду Ленина" и надеялся, что она восторжествует (об этой поре рассказано в первой части "Архипелага ГУЛАГ", в главе "Первая камера - первая любовь"). С детства убежденный, что его жизненная задача - написать историю русской революции, Солженицын считал: для этого "ничего не нужно, кроме марксизма". "Я говорил, - вспоминает он, - что революция наша была великолепна и справедлива, ужасно лишь ее искажение в 1929 году"[9]. И в "Теленке" заключает: "Страшно подумать, что́ б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не *посадили*".

По словам автора "Архипелага", тюрьма была для него "не пропасть, а важнейший излом жизни". Там формировалось новое миропонимание, закалялся характер. Двух-трех лет тюремно-лагерной страды оказалось достаточным, чтобы материалист, марксист-ленинец смог понять "подлинную меру вещей во Вселенной" и очиститься от коммунистической скверны. Когда лагерь сменился вечной ссылкой, он был уже другим человеком.

Так превратился Солженицын в писателя-подпольщика. И в последующие годы, когда пришла официальная слава, сменившаяся вскоре новыми гонениями, он оставался подпольщиком, конспиратором. Те же, кто упрекали его в скрытности, в недоверчивости, были всего лишь "небитыми фраерами". Они и представить себе не могли, какой осторожности требовала деятельность писателя, хранившего и переправлявшего за рубеж свои взрывоопасные произведения, жившего под постоянной угрозой провала.

Что мог знать Солженицын о Твардовском до встречи с редактором "Нового мира"? И почему, рискуя "высунуться" из подполья, обратился именно к нему?

Еще во время войны среди других произведений того времени Солженицын выделил "чистозвонного" "Василия Теркина". В "Теленке" говорится об этой поэме: "Не имея

свободы сказать полную правду о войне, Твардовский остановился однако перед всякой ложью на последнем миллиметре, нигде этого миллиметра не переступил, нигде! - оттого и вышло чудо".

Позже познакомился Солженицын и с "Теркиным на том свете", который ходил по рукам, и эту вещь "признал за живое". А прочитав главу о Сталине из поэмы "За далью даль", тоже положительно ее оценил: "По тому времени, по всеобщей робости она выглядела смелой". И именно под впечатлением этой главы еще в середине пятидесятых впервые возникла мысль: "...не показать ли чего-нибудь написанного Твардовскому? не решиться ли?" Однако тогда - не решился. И, быть может, потому, что, вчитываясь в текст сталинской главы, увидел: "Уж слишком мягко /.../ Поэт трогал ногой рядом с мощеной тропкой, но страшно было ему сходить". Лишь через несколько лет, после XXII съезда КПСС и речи Твардовского на съезде, Солженицын отважился передать в "Новый мир" рассказ о зэке "Щ-854".

Что же в выступлении Твардовского могло привлечь писателя-подпольщика? Если отбросить формулы новоречи, неизбежные в ту пору, легко заметить, что поэт провозгласил эстетические принципы, по сути своей противоречащие соцреалистическим догмам. Он выступал против фальши в литературе, с возмущением говорил об "авторской оглядке: что можно, чего нельзя". "Солгать, притвориться в искусстве", - утверждал Твардовский, - невозможно, ибо где ложь - там нет искусства. И отвергал один из основных принципов соцреализма: "необходимость ***приподнимать*** действительность"[10].

Всё это казалось смелым и не могло не понравиться Солженицыну, эстетические взгляды которого всегда были близки взглядам редактора "Нового мира".

Но как ни привлекал писателя автор "Василия Теркина", столь необычно выступивший на столь необычном съезде, полного доверия к поэту испытывать он не мог. В глазах бывшего зэка Твардовский все-таки оставался со-

ветским вельможей. Лауреат многих премий, член правления Союза писателей, депутат Верховного Совета, кандидат в члены ЦК КПСС (вплоть до 1966 года), он был связан с совершенно иной, враждебной средой. Да и "Новый мир", как считал тогда Солженицын, "мало чем отличался от остальных журналов". Отдал же он именно туда свою первую рассекреченную вещь, надо полагать, не потому, что доверял журналу, а потому, что, несмотря на предубеждение, его привлекала личность редактора-поэта.

* * *

В ту пору, когда Солженицын проходил свой крестный путь в тюрьмах и лагерях, обретая там новое видение мира; в ту пору, когда приговоренный к вечной ссылке, чудом излечившийся от смертельной болезни, он писал вечерами после утомительного рабочего дня и, старательно пряча написанное, опасался новых репрессий, но всё же чувствовал себя счастливым, - в ту пору прославленный автор "Василия Теркина" получал премии, выступал с речами, общался с "высоким" партийным начальством и с литературными "тузами", тратя золотое время на бесчисленные заседания, совещания, собрания, представительство. И - чувствовал себя глубоко несчастным. Год за годом угасала вера в идеалы, которым он был предан с юности. Всё чаще наступали творческие кризисы, от которых не спасали правительственные санатории и дома творчества. Слава не избавляла от проработок, от необходимости признавать свои "ошибки" и разоблачать чужие. Положение обласканного властями тяготило поэта, всё чаще нападала тоска, захлестывало отчаяние. И не видно было выхода.

Чтобы понять, кем стал для Твардовского Солженицын, надо представить себе, в какой период духовной биографии поэта к нему попала рукопись безвестного рязанского учителя. Подвиг Твардовского, пробившего дорогу Солженицыну и тем изменившего литературный климат шестидесятых годов, был подготовлен всей его предшествующей жизнью. Однако шел он к этому подвигу непростыми, непрямыми путями.

Сын раскулаченного, комсомольский активист, он, как и другие юноши его поколения, безоглядно уверовал в марксизм-ленинизм. Но в то же время не мог не чувствовать вины перед семьей, сосланной на Север, перед отцом, от которого отрекся. Не случайно у автора "Страны Муравии" в одном из стихотворений 1933 года вырвались слова, обращенные к репрессированному брату:

Лет семнадцать тому назад
Мы друг друга любили и знали.
Что ж ты, брат?
Как ты, брат?
Где ты, брат?
На каком Беломорском канале?

А в пятидесятых годах он записал в "Рабочих тетрадях" сюжет пьесы, к созданию которой так и не приступил. Герой ее - сын "кулака", убежденный комсомолец - тайком покидает родной дом накануне раскулачивания родителей.

С трагедией семьи связан и замысел автобиографической вещи "Пан Твардовский", которую поэт мечтал написать, считая своей Главной книгой. В "Рабочих тетрадях" неоднократно говорится об этом замысле, но и он остался неосуществленным. С той же темой связан замечательный цикл стихотворений "Памяти матери" и поэма "По праву памяти". Мысли о судьбе семьи и шире - о судьбах крестьянства - никогда не покидали Твардовского. И, быть может, первая трещина в его мировоззрении появилась в связи с этими мыслями.

С годами трещина углублялась. И тут не последнюю роль играли дела литературные. Истинный художник, он брезгливо относился к соцреалистическим однодневкам, презирал панегиристов-пенкоснимателей и официозных критиков-проработчиков. Но не теряя веры в возможность повлиять на современный литературный процесс даже в неблагоприятных условиях, Твардовский дважды берется за редактирование "Нового мира". Однако в роли редактора он встретился с такими препятствиями, которые от-

крывали глаза на истинное положение вещей. Редактор советского журнала на горьком опыте убеждался, что в Стране Советов писать можно лишь "по соображению лучшей проходимости", "на полунедосказе".

Как свидетельствуют "Рабочие тетради", особенно острый кризис пережил Твардовский в 1953 году. В записи от 6 сентября 1955 года он с горечью признается: "...нет у меня той, как до 53 г., безоговорочной веры в наличествующее благоденствие". Что же случилось в пятьдесят третьем?

До XX съезда было еще далеко. Смерть Сталина? Но это событие не могло подорвать веры. Скорее всего, уже давно пошатнувшаяся, она подвергалась особенно серьезному испытанию в пору нагнетения чудовищных событий, предшествовавших смерти генсека и по инерции продолжавшихся какое-то время после него. Поэта не могла не удручать сгустившаяся на "идеологическом фронте" атмосфера доносов, разносов, проработок, погромных кампаний, репрессий - атмосфера, в которой задыхалось всё живое в литературе.

Разгул сталинщины естественно обрушился и на "Новый мир", где уже в ту пору собирались лучшие силы. Особенно яростной атаке подвергся роман Василия Гроссмана "За правое дело", опубликованный в осенних номерах журнала за 1952 год.

Невозможно умолчать об участии самого Твардовского в разгроме романа и его автора. По гнусным правилам игры он вынужден был выступать - разносить и каяться. Но как же стыдно и горько читать теперь его выступления на заседаниях редколлегии "Нового мира" (2 февраля 1953 г.) и Президиума правления ССП (24 марта 52-го)[11].

"Проработка" Гроссмана сочеталась с бранью в адрес "Нового мира", который обвинялся во всех смертных грехах, включая публикацию романа, написанного "с сионистских позиций". Подобных выражений Твардовский не употреблял, но признал, что роману Гроссмана присущи "серьезные идейно-художественные пороки". И каялся:

редколлегия журнала "обязана извлечь все уроки из совершенной ею серьезной ошибки". Есть основание полагать, что эти выступления нелегко дались поэту.

Важным этапом на пути прозрения Твардовского явились и события, совершившиеся летом 1954 года, когда его самого сняли с поста редактора за "неправильную линию журнала". Имелась в виду публикация статей Ф. Абрамова, В. Померанцева, произведений Э. Казакевича и других "порочных" материалов. Основной же криминал видели в "Теркине на том свете". Поэму расценили как "пасквиль на советскую действительность", как "вещь клеветническую".

Она и в самом деле была "крамольной", ибо - хотел того автор или нет - касалась самих основ системы. "Теркин на том свете" свидетельствует, в каком направлении развивались взгляды Твардовского. Но в то же время, по его вполне искреннему признанию в письме, адресованном Президиуму ЦК, он оставался верен коммунистическим идеалам и его возмущало лишь их искажение (вспомним фронтовые письма Солженицына, где выражались сходные мысли). "Перо мое, самое главное, чем я располагаю в жизни, принадлежит партии, ведущей народ к коммунизму", - заверял поэт ЦК[12].

Однако важно отметить, что, в отличие от выступлений 53-го года, в том же письме Твардовский спорит с партократами, требовавшими от него покаяния: "Не согласен немедленно признать себя виновным - значит, ты ведешь себя не по-партийному, значит, будешь наказан. Но чего стоили такие "автоматические" признания ошибок..."

После снятия с поста редактора "Нового мира" в душе Твардовского что-то надломилось. В "Рабочих тетрадях" всё чаще мелькают записи вроде следующих: "всё противно, тошно, уныло"; "я так постарел душою". И в то же время, когда Президиум ЦК утвердил его снятие, бывший редактор приходит к заключению: "Вина главная - моя. - Решение правильное" (запись от 11 августа 1954 г.).

Но чем дальше, тем больше обостряется неприятие

официальной идеологии и конфликт с власть имущими. Так, 19 января 1955 года в дневнике появляется запись: "...не того ждут от меня вурдалаки, что я могу и хочу, а того, чего я не хочу и не могу". И вместе с тем поэт продолжает цепляться за прежнюю веру, расставаться с которой было мучительно трудно. Потрясенный разоблачением Сталина на XX съезде, он утешает себя: "Процесс социализма - естественноисторический процесс - как вода, как трава - что ни делай, - найдет путь, пробьется, прорастет".

Двойственность проявляется и в последующие годы. Когда Твардовский снова стал редактором "Нового мира", в деле Пастернака журнал занял позицию, ничем не отличавшуюся от официальной. Да и в "Рабочих тетрадях" нет записей об этом позорном деле. Лишь год спустя после исключения Пастернака из Союза писателей Твардовский замечает мимоходом: "...из Пастернака мы "мученика" сделали /.../ сами сделали, своею высоко мудрой глупостью". Здесь проявляется не столько сочувствие гонимому поэту, сколько осуждение его недальновидных гонителей.

С годами всё острее в "Рабочих тетрадях" звучит тема деревни. И еще до XX съезда возникает другая - тема репрессий. Твардовский называет ее "самой личной и неличной", "вопросом совести и смысла жизни". 13 ноября 1955 года он записывает: "Тема страшная /.../ она до всего касается - современности, войны, деревни, прошлого - революции и т. д.".

Существенной вехой на пути прозрения поэта стал, по его собственному признанию, роман Гроссмана "Жизнь и судьба". Прочитав это произведение в рукописи, Твардовский подробно говорит о нем в записи от 6 октября 1960 года: "Впечатление и радостное, освобождающее, открывающее тебе какое-то новое (и *вовсе не новое*, но скрытное, условно-запретное) видение самых важных вещей в жизни, впечатление, как бы разом снимающее, сводящее к нулю удручавшее тебя однообразие и условность современных романов /.../ Но впечатление - странное, тяжелое, вызы-

вающее *противостояние духа и страх, что что-то тут не так*". Выделенные мною слова говорят о том, что "крамольные" мысли Гроссмана в шестидесятом году уже не казались Твардовскому новыми. Но в то же время он еще колебался, еще не дошел до полного отрицания тоталитарной с и с т е м ы, которое явственно звучит в романе. И вместе с тем, по его словам, "Жизнь и судьба" - "из тех книг, по прочтении которых чувствуешь /.../ что это какой-то этап в развитии твоего сознания".

О том, как широко мыслил поэт и редактор - истинный Иван Калита русской литературы - свидетельствуют заключительные строки той же записи: "Напечатать эту вещь /.../ означало бы новый этап в литературе, возвращение ей подлинного значения правдивого свидетельства о жизни, - означало бы огромный поворот во всей нашей зашедшей бог весть в какие дебри лжи, условности и дубовой преднамеренности литературе. Но вряд ли это мыслимо..."

Не могла не потрясти Твардовского дальнейшая участь столь уникального произведения. В феврале 1961 года рукопись была арестована, причем один экземпляр гебисты изъяли из сейфа "Нового мира".

"После ареста романа, - вспоминает Семен Липкин, - к Гроссману чуть ли не в полночь приехал Твардовский, трезвый. Он сказал, что роман гениальный. Потом, выпив, плакал: Нельзя у нас писать правду, нет свободы "[13]. Далее рисуется тяжелая сцена опьянения Твардовского и приводятся его слова о коллективизации, о миллионах загубленных крестьян.

...А через девять месяцев Л. Копелев передал в "Новый мир" рукопись под названием "Щ-854", написанную каким-то безвестным автором.

* * *

Это был художник, которого давно ждал Твардовский. Новый человек в литературе, с именем, не запятнанным проработками или участием в них, человек, обладающий огромным талантом, не суетный, готовый довольствовать-

ся работой скромного учителя, лишь бы не слукавить, к тому же - человек, прошедший муки лагерного ада, - таким предстал перед поэтом автор повести о мужике, солдате, зэке Шухове. Конечно, в первую очередь поразило само произведение. Но поразила и личность автора. И для Твардовского он стал навсегда, по его собственным словам, "самым дорогим в литературе человеком".

В ноябре 1962 года, вскоре после публикации "Одного дня Ивана Денисовича", В. Лакшин записал в дневнике: "Александр Трифонович просто влюблен, всё время твердит: Какой это парень! Он отлично всему знает цену. Поразительно, как это у себя в провинции он так точно чувствует, что добро, а что недобро в литературной жизни ". Но назвав чувство Твардовского к Солженицыну "отцовским", Лакшин отмечает и некую трещину, возникшую уже тогда. "Сгорая от досады и ревности", Твардовский сокрушался: "Я-то думал, что его главные друзья в "Новом мире" /.../, а выходит, что мы зажимщики, цензора, а друзья его - это Копелев с компанией"[14].

Горечь, обида, ревность рождались не на пустом месте. Об этом свидетельствует "Бодался теленок с дубом". Ошибка Твардовского с самого начала заключалась в том, что он принял уже сложившегося человека и писателя за новичка и счел нужным учить (ученого!) уму-разуму. Лишь с годами, после многих размолвок, убедившись в целесообразности самостоятельных шагов открытого им писателя, редактор "Нового мира" заговорил с ним как с равным. Солженицына раздражала опека, а его "непослушание" и скрытность огорчали, порой и возмущали Твардовского. Разные условия, в которых работали редактор легального журнала и писатель-подпольщик, не давали возможности обоим как следует понять друг друга и преодолеть барьеры, разделявшие их.

* * *

Каким же увидел Твардовского Солженицын, когда состоялось их знакомство? Заранее сложившийся образ

"обласканного троном" поэта лишь отчасти заслонил его подлинный облик. Но "неестественная жизнь советского вельможи" порою виделась там, где ее не было. Характерны такие детали. Автор "Щ-854" пришел впервые в редакцию "Нового мира" в полдень, но Твардовский там еще не появлялся. В этом усмотрел Солженицын "вельможную" привычку поздно приступать к работе. Однако не только такие стихотворения Твардовского, как "Час рассветный подъема / Чай мой ранний люблю" или "Час мой утренний, час контрольный", но и многочисленные записи в "Рабочих тетрадях" говорит о привычке садиться за работу еще до рассвета. Солженицын этого не мог знать.

Другая деталь. В "Теленке" неоднократно отмечается, что Твардовский, привыкший ездить в комфортабельных машинах, боялся переходить московские улицы. Но ведь такой же страх испытывала и Анна Ахматова, о чем рассказывают Л. К. Чуковская и другие мемуаристы. А уж она-то не была избалована ездой в автомобилях!

Неверно и нечто более существенное: якобы в "Новом мире" сложился "культовый принцип" и члены редколлегии "не имели другой цели, как угодить Главному редактору". "Никто в редакции не смел Твардовскому возражать..." Между тем, в дневнике Кондратовича неоднократно упоминается о спорах с Главным по частным и принципиальным вопросам. Нередко встречаются такие записи: "Мы долго спорили с ним..."; "Пытались ему это втолковать"; "Спор шел жаркий, ожесточенный. А. Т. несколько раз срывался на крик".

Но как бы ни ошибался Солженицын, интуиция художника его не обманула. С первого взгляда его привлекло в Твардовском удивительное сочетание детского начала с "богатырской крупностью". "Он был крупный, кругом широкий /.../, поразило меня детское выражение его лица - откровенно детское, даже беззащитно-детское, ничуть кажется не испорченное долголетним пребыванием в высоких слоях и даже обласканностью троном". И далее, на последующих страницах: "Детскость его проявлялась не-

погасимой радостью в глазах"; "С детской обиженностью и просительностью улыбался..."; "...чистенький, по-детскому славный". То же проступает на лице безнадежно больного: "...измученное лицо сохраняет его изначально детское выражение". И - в облике мертвого: "...в первые же часы после смерти вернулось к нему детское, доброе, примиренное выражение, его лучшее". Не только наблюдательность художника, но и глубокое чувство любви проступает и в этих словах, и в Поминальном слове: Солженицын называет здесь поэта "богатырем", грудью отстаивавшим свой журнал. И продолжает: "Над гробом портрет, где покойному близ сорока и желанно-горькими тяготами журнала еще не борожден лоб, и во всё сияние - та детски-озаренная доверчивость, которую пронес он через всю жизнь, и даже к обреченному она возвращалась к нему"...

Привлекала Солженицына и "доконная мужицкая суть" Трифоныча. Ведь и о себе сказал писатель в "Архипелаге": "...я сам в душе мужик" (часть III, глава "Придурки"). В "Теленке" не раз говорится и о внешнем сходстве Твардовского с мужиком, и о его крестьянской сути. (Например: "...под тихим снегопадом проводил нас за калитку - очень похожий на мужика, ну, может быть, мал-мало грамотного...") Солженицыну даже казалось, что именно "поэтическое и мужицкое чувство" определило отношение Твардовского к Ивану Денисовичу.

И все же, несмотря на внутреннее, порой непреодолимое влечение к поэту, Солженицын не мог не ощущать дистанции, их разделявшей. "Направление мое - не его, я ему не союзник", - к подобным выводам приходил он не раз. И действительно, тактика обоих была совершенно различна. Один боролся за подцензурный журнал, исключительно легальными методами отстаивая честную, подлинно художественную литературу. Другой, не признавая никаких компромиссов, никаких недомолвок, вступил в открытый бой с тоталитарным чудовищем. Один нес ответственность за журнал, за целое направление, за ход современного литературного процесса. Другой был хозяином

своей, и только своей писательской судьбы. Наконец, один всё еще надеялся изменить что-то к лучшему в рамках существующей системы. Другой эту систему начисто отрицал.

Как бы подводя итоги, Солженицын пишет: "Я полюбил его мужицкий корень; и проступы его поэтической детскости, плохо защищенной вельможными навыками; и то особенное природное достоинство, которое проявлялось у него перед врагами /.../ Но слишком несхожи были прошлое мое и его, и слишком разное мы вывели оттуда. Ни разу и никогда я не мог быть с ним так откровенен и прост, как с десятками людей, отемненных лагерной сенью".

Однако пролегла ли между ними непроходимая пропасть? Или через нее когда-нибудь мог быть переброшен мост, да не хватило на то жизненного времени?

* * *

Мы уже знаем, каково было отношение Твардовского к советской действительности до встречи с Солженицыным. О том, насколько изменился поэт к концу шестидесятых годов, можно судить по дневнику Кондратовича. Ведь он по свежим следам, в тот же день, записывал высказывания главного редактора. Ограничусь лишь немногими примерами.

Твардовский сказал как-то о М. Исаковском: судьба этого поэта показывает, "как социализм мял и душил таланты". (Заметим: не "вурдалаки", не партаппаратчики, а - социализм!)

Или - о старой, наболевшей теме, но теперь куда острее. Речь зашла о насильственном сселении кавказцев с гор в долины, и Твардовский заметил: "...для народа ужасное дело... Это было одно из тех похожих на коллективизацию дел, когда народу говорят, не спрашивая его: делайте так, вам будет лучше". (Теперь он понимает, каковы взаимоотношения партии с народом!)

О самой же КПСС поэт говорит: "Из партии изгоняли и

таких, и сяких, и теперь оказалось, что партии-то нету! Нету! Есть хорошо организованный и послушно-дисциплинированный аппарат. А партии нет". Здесь еще ощутима идеализация той партии, которая б ы л а, но нынешняя характеризуется точно и беспощадно.

Видит Твардовский и другое: "Советской власти у нас нет. Она где-то на третьих ролях". Или о выборах: "...проведите выборы как выборы, с двумя кандидатами - и сколько посыпется. Допусти хоть малую свободу - захотят большой".

Особенно "крамольно" (совсем как в романе Гроссмана "Жизнь и судьба"!) звучит сопоставление фашизма большевистского и нацистского образца, причем речь идет уже не о сталинской эпохе, а о брежневской. Поводом для разговора на эту тему послужил цензурный запрет статьи о Гитлере, мотивированный тем, что она вызывает нежелательные ассоциации. "Еще бы, эти аналогии, конечно, есть", - заметил Твардовский.

Для редактора "Нового мира" характерен вывод, к которому он приходит: "Единственная возможность спасти положение - это открыть все шлюзы для гласности, для откровенного разговора, но именно этого они и не могут сделать". Важно подчеркнуть, что та же мысль прозвучала в письме Солженицына Секретариату СП РСФСР, хотя поначалу это письмо и возмутило Твардовского (о чем речь пойдет ниже). "Гласность, честная и полная *гласность* - вот первое условие здоровья всякого общества..." - писал Солженицын.

В высказываниях Твардовского слышится резкое противопоставление: "мы" - новомирцы, "они" - сталинисты-партократы. Под влиянием общей обстановки в стране, под влиянием рукописей, приходивших в журнал, и, безусловно, под влиянием Солженицына и его произведений - у поэта всё больше раскрывались глаза, развеивались былые иллюзии, становилась очевидной горькая правда. Менялось и поведение редактора опального журнала.

Сравним его реакцию на травлю Гроссмана или Пастер-

нака и роль в этой травле с тем, как отнесся Твардовский к суду над А. Синявским и Ю. Даниэлем. 18 февраля 1966 года Кондратович записал: "Пришел Воронков. Мы оставили их вдвоем. Был крик. Воронков уговаривал А. Т. поставить подпись под письмом секретариата СПП, разумеется, приветствующим приговор Синявскому и Даниэлю. А. Т. категорически отказался. "Пусть знают, что есть хоть кто-то, кто отказался". Воронков умолял, уговаривал... Но - не уговорил". А до этого Твардовский сказал соредакторам по поводу суда: "Как бы мы ни говорили, - совершилось. Произошло что-то. Мы уже не можем с таким весельем жить и разговаривать с авторами. Что-то в нас самих произошло".

Поворотным этапом, как и для всей мыслящей части общества, явились чехословацкие события. В августе 68-го года поэт пережил тяжелое потрясение, ибо рушилась последняя надежда на "социализм с человеческим лицом". Твардовский рассказывал новомирцам, как к нему на дачу приехал гонец из Союза писателей с письмом, одобряющим оккупацию Чехословакии, и стоял над душой, требуя подписать этот позорный документ. "А я давно принял решение, - записал слова А. Т. Кондратович 13 сентября 1968 года. - Я не только отказался подписывать, но еще и написал: "Я бы мог всё подписать, но только до танков и вместо танков".

Позиция, занятая поэтом, оказалась неожиданной для Солженицына. Сам он отказался от мысли дать на подпись Твардовскому и еще нескольким известным лицам протест против оккупации Чехословакии, считая, что они побоятся подписать подобный документ. Узнав же о поведении редактора "Нового мира", сказал ему при встрече: "Я глубоко рад, Александр Трифоныч, что вы заняли такую позицию". И тот с достоинством ответил: "А какую я мог занять другую?"

Следует подчеркнуть, что Твардовский знал: его акция ставила журнал под удар. Так оно и было. Не спасло "Новый мир" даже то, что в отсутствие главного редактора,

который был в отпуске и жил на даче, редколлегия выразила одобрение оккупации. Это выглядело тогда как отступничество, и на нас, читателей, произвело удручающее впечатление. Теперь же я думаю: а многие ли из нас самих голосовали п р о т и в "оказания братской помощи"?!

Неприязнь Твардовского к партийному руководству, становившаяся с годами всё более явной, не могла не вызвать ответной реакции. Аппаратчики, привыкшие иметь дело с холуями, не прощали поэту резкого, независимого тона. Кондратович вспоминает, как "А. Т. с наслаждением разозленного человека наговорил" начальству; как секретарю ЦК Демичеву бросил по телефону: "Я вам не верю"... А вот одно из многочисленных столкновений из-за Солженицына. Секретарь ЦК Шауро заявил, что, мол, партия опубликовала "Один день Ивана Денисовича", а Солженицын вместо благодарности ответил "Пиром победителей". И Твардовский взорвался: "Вы лжете, и знаете, что лжете. "Пир победителей" был написан в лагере". Подобного тона цекисты никому не прощали.

Конечно, Солженицын не знал о такого рода столкновениях. Быть может, иногда он был и неверно кем-то информирован. Приведу лишь один пример. В дни разгрома "Нового мира" Твардовский решил использовать последний шанс и обратился с письмом к Брежневу. Солженицын этого письма не видел, но ему передали, что там была фраза: "Я - не Солженицын, а Твардовский, и буду действовать иначе". А вот что записал Кондратович, который читал письмо и 9 февраля 1970 г. занес в дневник самые важные места из этого документа. Заявив: "...нынешние сталинисты травят меня" (Кондратович отмечает, что это крайне опасное высказывание, ибо сам Брежнев был сталинистом), "А. Т. пишет далее о Солженицыне, об исключении его из Союза и осуждает это исключение, что тоже может быть поставлено ему в вину..." Еще бы! Ведь Солженицын был исключен из ССП как "враг народа", "очернитель", "антисоветчик". Защищать его было опасно, особенно в письме, в котором надлежало не обвинять, а каяться.

Ничего похожего на фразу, приведенную в "Теленке", у Кондратовича нет.

Как бы ни складывались их личные отношения, Твардовский неизменно и перед всеми говорил о великом таланте Солженицына и защищал его от тех, кто фактически были их общими врагами. Но автор "Теленка" далеко не всегда это знал, как не знал, очевидно, насколько далеко зашло прозрение поэта. Можно предположить, что в кругу своих новомирских соратников - членов партии главный редактор был более откровенен, чем в редких беседах с беспартийным писателем. Тут сказывалось еще кастовое мышление "партийных товарищей", считавших недопустимым выносить сор из избы.

Солженицыну казалось, например, что прозрение Твардовского началось лишь после хрущевской речи на XX съезде, потом "замедлилось", ибо поэт был "в довечном заклятом плену у принятой идеологии", хотя его "природный ум бессознательно с нею боролся..."

В "Теленке" прослеживается эволюция Твардовского, но неизбежно лишь в пределах того, что было известно автору очерков. Порою он сам признается: "Нет, не разобрался я в этом человеке!" Порою с радостью отмечает: "Нет, менялся Твардовский! Менялся, и совсем не медленно". Порою видит главное: "Весь 1968 год /.../ был годом быстрого развития Твардовского, неожиданного расширения и углубления его взглядов и даже принципов, казалось бы устоявшихся, - а ведь исполнилось ему пятьдесят восемь! Не прямó, не ровнó пробивалось это развитие /.../ - а шло!" Последнее замечание справедливо, но давно уже вера не была "устоявшейся" и развитие не было "неожиданным". Знаменательны заключительные слова: "Еще б нам несколько верст бок о бок, и могла б между нами потечь откровенная, не таящаяся дружба..."

С годами доверие Солженицына к Твардовскому настолько окрепло, что автор "Архипелага" решился дать поэту эту свою самую потаенную, самую опасную вещь, справедливо полагая: чтение ее должно стать новой вехой

на пути окончательного прозрения. Но Александру Трифоновичу так и не довелось прочитать "Архипелаг ГУЛАГ" - помешали болезнь и смерть.

* * *

Осталась недоступной Солженицыну, быть может, важнейшая сторона духовной жизни Твардовского. Автору "Теленка" казалось, что в последние годы поэтический дар Твардовского затухал, и поэтому "Новый мир" делался ему все дороже и дороже. Между тем, именно тогда, когда обострилась борьба за журнал, лирика Твардовского достигла новых вершин. Для преследуемого редактора она превратилась в убежище, куда не проникали политические бури, где он не был подвластен злобе дня, и мог предаться высоким думам о жизни, о смерти, о скоротечности времени, о человеке и природе. Уход Твардовского в мир, далекий от повседневности, был тоже своего рода противостоянием советской действительности.

Но во время редких и кратких встреч с Солженицыным, конечно же, было не до "чистой лирики", не до вечных вопросов бытия. В примечаниях к журнальному тексту очерков "Бодался теленок с дубом" Солженицын отметил позже, в 1986 году: "Да по моей постоянной спешке борьбы и из-за наших постоянных разладок в тактике мы никогда с ним не углублялись серьезно в литературную протяженность - назад и вперед". Твардовский же и вообще не склонен был к разговорам о том, что с такою силой запечатлено в его стихах.

Возможно, для Солженицына он и сделал бы исключение. В "Теленке" дважды упоминается о желании поэта говорить с любимым писателем именно о себе. Первый раз - после того, как Твардовский прочитал "В круге первом", был потрясен до глубины души и готовился "идти на костер" ради публикации романа. Второй раз - после исключения Солженицына из Союза писателей, когда обреченность "Нового мира" стала очевидной. "...Ему надо говорить со мной *больше даже о себе, чем обо мне.* (Опять

эта тема, опять эта разбереженность, как и после чтения "Круга"!..)", - вспоминает Солженицын (слова Твардовского выделены автором). О чем именно хотел говорить поэт? Бог весть! Разговор "о себе" так и не состоялся. А должен он был касаться, очевидно, чего-то самого г л а в н о г о.

О самом г л а в н о м поведал Твардовский в лирике последних лет. Вот, например, как кончается стихотворение "В чем хочешь человечество вини...", в котором слышится намек на чехословацкие события (оно датировано 1968 годом):

Перед какой безвестною зимой
Каких еще тревог и потрясений
Так свеж и ясен этот день осенний,
Так сладок каждый вдох и выдох мой?

Строки эти вызывают в памяти одну из "Крохоток" Солженицына - "Дыхание": "Я стою под яблоней отцветающей - и дышу /.../ Никакая еда на земле, никакое вино, ни даже поцелуй женщины не слаще мне этого воздуха, этого воздуха, напоенного цветением, сыростью, свежестью".

Когда в 1963 году Солженицын предложил "Новому миру" "Крохотки", Твардовский их не принял. В ту пору ему казалось, что нужна такая же взрывная вещь, как "Один день Ивана Денисовича". В конце шестидесятых что-то в душе его изменилось, и "чистая лирика" стала вытеснять стихи о сиюминутном, что жгло и от чего хотелось уйти. Жжение, боль, тревога остались и в стихотворении "В чем хочешь человечество вини". Но над этими чувствами, отодвигая их на задний план, господствует мир природы, вечный и прекрасный.

Просветленная печаль и мудрое смирение пронизывают одно из лучших стихотворений не только Твардовского, но и всей русской лирики - "На дне моей жизни...". Оно озарено неугасимым внутренним светом. Кондратович вспоминает, как 27 сентября 1968 года Твардовский читал соредакторам свои стихи. После о[illegible]ро злободневных и явно непроходимых "пошли прелестные миниатюры. А. Т. волновался, когда читал "На дне моей жизни, на самом

донышке..." - я вдруг почувствовал, что он вот-вот сейчас заплачет. В нем все задрожало, он еле сдержал себя, чтобы не показать слабость". На другой день, заговорив о старости, поэт заметил, что на склоне лет появляется "какое-то особое зрение и понимание, взгляд с вершины, дальность взгляда и зрения". Эти слова помогают проникнуть в его внутренний мир, скрытый от посторонних глаз, но так глубоко отразившийся в лирике последних лет.

Мог ли Солженицын разглядеть т а к о г о Твардовского в адском вихре, который и сближал их, и разъединял?! Да и Твардовскому была недоступна духовная жизнь любимого художника. Конечно, редактор "Нового мира" читал многие его произведения, но не знал главной книги тех лет - "Архипелага ГУЛАГ", где не только обличаются злодеяния советской власти, но и выражены глубокие мысли о человеке, о народе, о смысле жизни, о вине, раскаянии и о многом другом, что выходит за пределы какой-то одной эпохи.

Общаясь в суетном, уродливом мире, каждый из них жил своей потаенной духовной жизнью, которая нашла воплощение в их творчестве, но мало проявлялась в редких, торопливых беседах.

* * *

Быть может, наиболее тяжким было расхождение Солженицына с Твардовским по кровному для поэта вопросу - в оценке "Нового мира".

Следует подчеркнуть, что с годами журнал менялся так же, как и его редактор. Поначалу и сам Твардовский сомневался: стоит ли продолжать работу в "Новом мире"? "Второй срок моего редакторства, наконец, избавляет от всяких иллюзий. Немыслим, невозможен журнал в том виде, какой иногда мне грезился, - ему просто не дадут быть. А отдавать г л а в н у ю часть жизни для того, чтобы журнал был немного грамотнее, немного приличнее и совестливее других - не стоит", - записал он 4 декабря 1959 года в "Рабочих тетрадях".

Но совершилось казавшееся невозможным: "Новый мир" превратился в центр духовного обновления общества. Он стал делом жизни Твардовского. И вот поэтому недооценка журнала Солженицыным глубоко задевала поэта.

Как уже говорилось, накал борьбы мешал автору "Архипелага" вникать в дела редакции. В цитированных выше отрывках из Шестого дополнения к "Теленку" он сам признавался, что о внутренней жизни "Нового мира" "судил по слишком беглым своим, всегда на лету, впечатлениям, да по недостаточно проверенным рассказам сотрудников". Не мог знать писатель-подпольщик о той изматывающей, но всегда упорной борьбе, которую вели Твардовский и его соратники. И вот они-то, верные помощники главного редактора, зачастую представлялись Солженицыну в ложном свете.

Конечно, это были разные люди. За плечами первого заместителя Твардовского А. Г. Дементьева стояло темное прошлое: он был одним из палачей, громивших ленинградских "космополитов". Я видела его в этой роли и запомнила навсегда. Через 15 лет, услышав выступление Дементьева на встрече читателей с "Новым миром", я была поражена: на трибуне стоял совершенно другой человек. Смело говорил он о роли журнала, сравнивая его с некрасовским "Современником". Прежнего ортодокса нельзя было узнать!

22 августа 1967 года Кондратович записал рассказ Твардовского об одном разговоре его с "Дементом". Речь зашла о том, как советская власть "делала врагов искусственно" (оппозиционеры, миллионы раскулаченных, миллионы пленных, евреи). "А сейчас делаем врагов из интеллигенции. Тоже счет не маленький. И так, если подумать, - за 50 лет сколько же мы сами врагов понаделали. Это ужасно". Сравним с "Открытым письмом Секретариату ССП РСФСР" (12 ноября 1969 г.), в котором Солженицын говорил: "Да что б вы делали без "врагов"? Да вы б и жить уже не могли без "врагов", вашей бесплодной атмосферой стала *ненависть*..." Конечно, мысль Солженицына была

зрелее: он издевался над самой теорией "классовой борьбы". Но сближает автора "Архипелага ГУЛАГ" и "политического комиссара" журнала (так в "Теленке" называется Дементьев) - осуждение правительства, видевшего врага в своем народе.

Другим "охранителем Главного" считал Солженицын А. Кондратовича, об истинных взглядах которого можно судить по "Новомирскому дневнику". Мы найдем там размышления об эксплуататорской сущности советского государства, о том, как трудно будет "выбраться" из тоталитаризма, об аналогии между большевиками и нацистами. Приводя сочувственные высказывания Твардовского об А. Д. Сахарове и П. Г. Григоренко, Кондратович разделяет отношение к ним А. Т. Автора дневника, как и главного редактора, потрясли чехословацкие события. Подводя итоги 1968 года, он записывает 30 декабря: "...Крах последних иллюзий и надежд /.../ Живем уже в бескислородной атмосфере".

Но, может быть, Кондратович думал одно, а действовал по-другому, бдительно следя, чтобы в журнал не просачивалась крамола? И это не так. "Новомирский дневник" переполнен записями о борьбе с Главлитом и Старой площадью во имя того, чтобы можно было работать, "пока не стыдно". Ведь Кондратович выполнял роль посредника между журналом и его душителями. Каких неимоверных усилий стоила эта борьба, какую смелость надо было проявлять, отстаивая строку за строкой, абзац за абзацем, не говоря уже о целых произведениях, о сверстанных номерах журнала!

Примечателен рассказ Кондратовича о тактике, которую применял "Новый мир", защищая свою линию. Запрещенные вещи через несколько номеров ставились опять, пока же вместо них предлагались те, что были гораздо опаснее". "А Главлиту да и ЦК еще раз ломать номер совсем уж трудно. И это обстоятельство срабатывало не раз, в результате чего в журнале появлялись вещи куда более грозные, чем снятое".

Остановлюсь на одном эпизоде, свидетельствующем, насколько Солженицын ошибался в Кондратовиче. Когда появилась шаткая надежда на публикацию "Ракового корпуса", прежде чем сдать рукопись в набор, Твардовский счел необходимым устранить одно уязвимое место. Ему казалось, будто в повести сказано, что лагеря проросли страну, как метастазы. "Тут втерся в дверь маленький Кондратович, - говорится в "Теленке", - и живенько стал носом поковыривать под страницы: у Шулубина должно быть, у Шулубина. Я стал при них пробегать шулубинские страницы и еще давал Кондратовичу смотреть, как своему же, не опасаясь, что тяпнет за ногу. Но у него разгорелись глаза - это не его были глаза, а вставленные подменные глаза от цензуры, и ноздри были не его, а снаряженные нюхательными волосочками цензуры - и он уверенно-радостно выкусил клок: Вот! Вот! ".

Сравним этот отрывок с тем, как изображен тот же эпизод в дневнике Кондратовича. Он записывает 19 декабря 1967 года: "Итак, красный день! Сдали в набор первые 128 стр. (8 глав) "Ракового корпуса" /.../ о лучшем и мечтать не приходится". Когда же Кондратович предложил исключить одно место из разговора Костоглотова с Шулубиным, как явно "непроходимое" (ему ли, ходатаю по новомирским делам, было не знать, что пропустят, что нет!), Солженицын воспротивился: "Нет, это уже уступка". - "Но ведь только три строчки! Поймите, три строчки!" Не уступает. Ни в какую! Может быть, мы давно привыкли в таких случаях уступать, а для него, арестанта, не было условий для воспитания такой привычки /.../ - размышляет автор дневника. - А может быть, он смотрит из будущего?"

В "Теленке" блестяще нарисован сатирический портрет бдительного "охранителя", но приходится признать, что это портрет какого-то другого человека.

В "Новомирском дневнике" и в комментариях к нему, сделанных до и после чтения "Теленка", Кондратович неизменно говорит о великой роли Солженицына в литера-

турном процессе и в истории "Нового мира", всегда оставаясь беспристрастным летописцем журнала.

И напрашивается вывод: Твардовский не смог бы сделать "Новый мир" центром духовной жизни общества, если бы действовал в одиночку, если бы его ближайшие сотрудники гнули какую-то другую линию. Только с помощью единомышленников стало возможным добиваться, казалось бы, невозможного в условиях тотального угнетения.

* * *

Говоря об отношении Солженицына к "Новому миру", легко найти цитаты, доказывающие, что оно было положительным или, напротив, отрицательным. Мнение писателя о журнале не стало однозначным.

Когда он сравнивал путь легального органа со своим и когда сравнивал "Новый мир" с советской периодикой, напрашивались разные выводы. В первом случае уровень смелости казался низким, во втором - высоким. Вот почему на страницах "Теленка" встречаются противоречивые суждения. Это ощущал и сам автор. Так, он восклицает: "Каково жить Твардовскому? каково всей редакции "Нового мира"? Если где в этой книге я проглаживаю их слишком жестоко - исправьте меня: на муки их, на скованность их, на беззащитность".

Но нередко слышится и осуждение: "...соображения "пройдет" - не "пройдет" /.../ помрачали мозги членам редколлегии "Нового мира"..." И хотя им всё же удавалось "сохранять обстоятельный тон просвещенного журнала, как бы возвышенного над временем", - "существовал и другой масштаб: каким этот журнал *должен был бы* стать, чтобы в нем литература поднялась с колен. Для этого "Новый мир" должен был бы по всем разделам печатать материал следующих классов смелости, чем он печатал. Для этого каждый номер его должен был формироваться независимо от сегодняшнего настроения *верхов* /.../ Конечно, для этого частенько бы пришлось и лбом о стенку стучать с разгону".

Но тут же писатель как бы спорит с собой: "Мне возразят, что это бред и блажь, что т а к о й журнал не просуществовал бы у нас и года. Мне укажут, что "Новый мир" не пропускал ни полабзаца протащить там, где это было возможно. Что как бы обтекаемо, иносказательно и сдержанно ни высказывался журнал, - он искупал это своим тиражом и известностью, он неутомимо расшатывал камни дряхлеющей стены /.../ Наверно, в этом возражении больше правды, чем у меня. Но я всё равно не могу пройти мимо ощущения, что "Новый мир" далеко не делал высшего из возможного..."

Еще раз напомню, что всё это писалось весной 1967 года, в разгар борьбы "теленка" с "дубом" и борьбы "Нового мира" за право оставаться журналом "с человеческим лицом". Обстоятельства меньше всего располагали к объективным оценкам. Сам Солженицын уже делал в ту пору ставку на зарубежные публикации и на Самиздат, считая, что "живая жизнь всё более уходила туда", а редакция "Нового мира" "трагически не понимала этого".

Теперь, когда оглядываешься назад и спокойно размышляешь о прошлом, картина рисуется иной. Много ли в СССР было счастливцев, которые могли читать самиздатские копии и зарубежные издания? А "Новый мир" попадал в самые отдаленные уголки страны, и читали его миллионы. И разве можно сравнить неторопливое, вдумчивое чтение печатного текста со скоростным, поневоле поверхностным чтением бледных машинописных страниц, которые удавалось раздобыть иногда лишь на одну ночь? (Сужу по собственному опыту.)

Наконец - главное. Можно ли согласиться, что живая жизнь уходила из журнала, где печатались лучшие писатели шестидесятых - Айтматов, Быков, Воробьев, Залыгин, Искандер, Трифонов, Шукшин и другие?! В пределах возможного (а порой - даже за пределами) журнал пробивал дорогу встающей с колен литературе.

* * *

О том, какую линию отстаивал Твардовский и как он сам держался в борьбе с "вурдалаками", свидетельствуют стенограммы заседаний Секретариата ССП, посвященных обсуждению "Нового мира".

Еще в хрущевские времена, в феврале 1964 года, на закрытом заседании Секретариата шла речь о деятельности журнала и было решено, что Твардовский "ведет ошибочную и вредную для советской литературы линию в журнале", что недаром "за рубежом Твардовского называют либералом".

Весной 66-го, за год до того, как Солженицын написал, что "Новый мир" "далеко не делал высшего из возможного", состоялся XXIII съезд КПСС, на котором восемь выступающих критиковали "Новый мир". Осенью того же года под нож пошел целиком 12-й номер журнала, уже подписанный Главлитом. И 22 ноября Секретариат в узком кругу решил выяснить, "что сделал Твардовский после критики на съезде". 19 декабря ЦК предложил старейшим сотрудникам Твардовского А. Дементьеву и Б. Заксу (ответственному секретарю редакции) написать заявления об уходе, рассчитывая таким способом вынудить главного редактора сгоряча хлопнуть дверью и подать в отставку (что он и хотел было сделать, да соратники отговорили). 27 января в "Правде" появилась редакционная статья "Когда отстают от времени", в которой "Новый мир" критикуется за "упорство в отстаивании ошибочных позиций".

И вот, после такой "артподготовки", 15 марта 1967 года, на расширенном заседании Секретариата правления СП СССР предложено было выступить редактору "Нового мира" с отчетом о работе журнала. Это был традиционный "вызов на ковер" и, согласно ритуалу, вызванный должен был признать свои ошибки и сделать "оргвыводы".

Однако Твардовский не только не кается, но и идет в наступление. Он говорит, что две трети лучших произведений, появившихся за последние годы, напечатаны в "Но-

вом мире". И тем не менее, критика называет его деятельность "порочной, очернительской", а опубликованные им вещи - "сомнительными, принижающими нашу действительность", ориентированными на Запад. Сам же журнал обвиняют в том, что он упорно "гнет свою линию".

Здесь уместно вспомнить, что аналогичный упрек бросили "Новому миру" еще в 1954 году, когда Твардовского снимали с поста главного редактора. И тогда он ответил в цитированном выше письме Президиуму ЦК, сохранившемся в "Рабочих тетрадях": "Никакой особой "линии" у "Нового мира", кроме стремления работать в духе известных указаний партии по вопросам литературы, нет и быть не может".

Как же изменился Твардовский за 13 лет! Вот его ответ на сей раз: да, журнал "гнет свою линию", иначе он потерял бы лицо. Линия же его такова: "Новый мир" отдает "предпочтение реализму, жизненной правде, проникновению в сложность явлений подлинной действительности, какая она есть, а не какой может быть представлена, ибо воздействовать на действительность можно, именно видя ее, а не заменяющую ее схему". Линия журнала проявляется и в повышенной требовательности к мастерству, в "нетерпимости к фальши и серости".

Ни разу не употребил Твардовский термина "соцреализм", фактически отрицая основной его принцип - "умение смотреть на настоящее из будущего" (М. Горький), изображать жизнь в ее революционном развитии - не такой, какова она сейчас, а такой, какой будет завтра.

Эстетические взгляды, отличающиеся от официальных, высказал поэт и в речи на XXII съезде. Но теперь он выразил свои мысли более решительно и открыто. Так, Твардовский ополчился на цензуру, назвав ее "пережиточным органом". Без всякого возмущения говорил о распространении рукописной литературы и о зарубежных публикациях, утверждая, что и то и другое - неизбежный результат цензурных запретов. Эти явления, утверждал Твардовский, "можно изживать только публикованием у себя дома..."

Выступление редактора "Нового мира" прозвучало примерно за месяц до солженицынского письма IV съезду писателей. О готовившемся письме поэт ничего не знал, как и не знал Солженицын о выступлении Твардовского. А между тем, многие их мысли совпадают. Не случайно совпали и обвинения, адресованные обоим.

Твардовского упрекали: "Объективно вы противопоставляете правду, пропагандируемую "Новым миром", некоей официальной правде, которая выражается в наших статьях, в газетах, в партийных выступлениях, в речах руководителей и т. д."; "соцреализм /.../ выпадает совершенно из терминологии Нового мира "; "...гнусные заявления буржуазной печати о "Новом мире" /.../ Где вы их опровергаете?" И тут же о Солженицыне: "...у Солженицына соцреализма не найдешь"; он не хочет реагировать на "подлые хвалы буржуазной прессы и радио".

Это совпадение подтверждает правильность заключения, к которому приходит Кондратович в позднейших комментариях к "Новомирскому дневнику". Вот что говорится там о Твардовском и Солженицыне: "Между ними всегда было больше общего, чем различий /.../ Но этой близости в ту пору чаще они сами не замечали".

Особенно остро трагическое непонимание сказалось на страницах "Теленка", где говорится о разгроме "Нового мира". Они написаны с любовью к Твардовскому, но жалость и сочувствие сочетаются с горькой иронией. "Можно гибнуть по-разному, - заключает Солженицын, - "Новый мир" погиб, на мой взгляд, без красоты, с нераспрямленной спиной". Однако и тут, упрекнув новомирцев в "вечной пригнутости в компромиссах", писатель в скобках замечает: иного "и быть не может у журнала с т а к и м режимом!".

Но вот лишь один эпизод из жизни агонизировавшего журнала. 4 января 1970 года, за месяц с небольшим до гибели (а новомирцы все еще надеялись ее отсрочить), редколлегия принимает поразительное по смелости решение: сдать в набор поэму Твардовского "По праву памя-

ти", невзирая на запрет и на шум, вызванный ее появлением за рубежом. В тот же день Кондратович записал: "Вот эти моменты в жизни редакции, хотя они и драматичны, грозят опасностями, я так или иначе люблю. В это время мы чувствуем себя людьми /.../ ответственными за ответственное дело".

Тут проявилось и единодушие соратников Твардовского, и сила духа самого поэта. В дни гибели журнала он продолжал отстаивать свою правду и правоту, не каялся и шел навстречу неизбежному с гордо поднятой головой.

Когда Бюро Секретариата ССП известило его о решении назначить первым заместителем главного редактора "Нового мира" некоего Большова, которого Твардовский никогда и в глаза не видел, поэт написал гневное письмо (4 февраля 1970 г.): решение "принято без моего согласия /.../ считаю этот факт беспрецедентным ущемлением прав главного редактора, носящим по отношению ко мне оскорбительный характер, и не могу не рассматривать его как *прямое понуждение к отставке.* Считаю действия Бюро неправильными и обращаюсь с жалобой в ЦК КПСС" (выделено мною. - М. Ш.)[15].

На следующий день, получив извещение о снятии своих основных сподвижников, Твардовский не сдается. Он уведомляет Бюро, что до получения ответа из ЦК не уйдет, а назначенных без его ведома и согласия новых членов редколлегии не пустит на порог редакции. А затем пишет письмо Брежневу, притом - далеко не покаянное (о нем уже говорилось выше).

И только 12 февраля, так и не дождавшись ответа от генсека и, очевидно, убедившись, что атака на журнал сакционирована свыше, Твардовский подает заявление об уходе, но опять-таки - в непримиримом тоне: "...несмотря на мои неоднократные устные и письменные протесты против назначения, помимо моей воли, новой редколлегии журнала "Новый мир", которое носит оскорбительный характер..." И далее, вместо общепринятой формы: "прошу освободить меня от занимаемой должности" - нарочито,

подчеркнуто необычная: "вынужден просить об отставке". Вынужден! Как много стоит за одним этим словом.

24 июня 1968 года Кондратович записал такие слова Твардовского об уходе из "Нового мира": "Нет, если я и уйду, то не с /.../ извинительно-искательным жестом. Я не хочу ложным шагом скомпрометировать многолетнее наше дело или хотя бы бросить на него тень". Такая позиция определила его поведение и в феврале 1970 года.

Иначе виделись события Солженицыну. "В январе 1970-го стали его дергать н а в е р х, требовать объяснений, негодований и отречений /.../ да он и не против был..." Автору "Теленка" казалось, якобы Твардовский чувствовал себя ослабленным "своей виною - что поэма-то стала *оружием врага!*" (Речь идет о поэме "По праву памяти", опубликованной без ведома автора на Западе.) И далее: "А Воронков *каждый день,* как на службу, *вызывал* к себе этого поэта на собеседование, - и подавленный, покорный, виноватый Твардовский ехал на вызов". И следует вывод: "Сломали". "Твардовский подписал, столько лет из него выжимаемое: *"прошу освободить"*..." Получая информацию из вторых рук, автор "Теленка" не мог знать, что в заявлении было написано не "прошу", а "вынужден просить".

Позже, в Шестом дополнении, которое уже не раз упоминалось, сам Солженицын по-другому оценил события: "И в эти дни разгона - какого высшего уровня смелости я требую от руководства "Нового мира"? Что они могли сделать - не независимые издатели, а государственные служащие? Только - дать самиздатское заявление, что мне казалось тогда единственно желанным и действенным. Но ни Твардовскому, ни другим членам редакции это было не по ритму, не по навыку, совсем невозможно. Это украсило бы их падение, да, - но не изменило бы обстановку".

Интересно, что задолго до публикации отрывков из Шестого дополнения в комментариях к своему дневнику Кондратович писал примерно то же: "В книге "Бодался теленок с дубом" Солженицын как раз на нас возлагает вину: мы не сопротивлялись, не протестовали, кончились,

стоя на коленях. Он бы хотел, очевидно, чтобы мы стукнули кулаком, написали соответствующие протесты, распространили их и т. п., то есть поступили, как он в то время поступал. Наверно, это один из вариантов конца. И дело не в том, что у нас не хватило бы духу. Может быть, и хватило бы. Дело в том, что к такому образу поведения мы не были и не могли быть готовы. Если бы хоть раз вышли в открытую, нас с большим удовольствием разогнали бы - гораздо раньше. Со свистом, с улюлюканьем: вот смотрите, вот они какие!"

Твардовский, между тем, не был сломлен. Встретившись с ним через месяц после разгрома, 13 марта, Кондратович записал в дневнике слова поэта, подводившего итоги: "Нам всегда казалось, что кончится "Новый мир" и над мачтами сомкнутся волны. Но вот я читаю много писем, и не от писателей, а от читателей, пишут все - учителя, слесари, инженеры, студенты, - пишут о нашей беде, и пишут так, что я вижу: волны не сомкнулись, нет, не сомкнулись, - мачта наша с нашим флагом еще трепещет над волнами. Наше дело живет /.../ Вообще впереди много трудного, мне это ясно. Ясно, что как раз самые большие трудности еще впереди /.../, а всё-таки есть необратимые вещи /.../ на этом-то рано или поздно они голову сломают..." Пророческие слова!

* * *

В книге "Бодался теленок с дубом", в "Рабочих тетрадях", в "Новомирском дневнике" Твардовский предстает перед нами как фигура трагическая. На страницах солженицынских очерков не раз повторяется: "Бедный Трифоныч!"

Критики упрекали Солженицына: зачем он порочит память поэта, рассказывая о его запоях? Но об этом пишут и другие. Автор же "Очерков" далек от того, чтобы осуждать Твардовского. Вспоминая, как он сам однажды выпил водки, чтобы снять нервное напряжение, Солженицын продолжает: "И еще в одном я понял Твардовского: а ему

тридцать пять лет чем же было снимать это досадливое, жгучее, постыдное и бесплодное напряжение, если не водкой?.. Вот и брось в него камень".

Усугубляли трагедию поэта и сложные взаимоотношения с "самым дорогим в литературе человеком" (а ведь литература была самым дорогим делом его жизни!). Годы спустя в Шестом дополнении Солженицын признавался: "...повороты жестокости - были: в том, как я скрывался от него порою сам, и почти всегда скрывал свои предполагаемые удары. Жестоко, - но как было биться иначе? Лишь чуть расслабиться в этом одном - и бок открыт, и бой проигран".

Только после выхода "Невидимок" стало ясно, в каком невероятном напряжении приходилось работать Солженицыну. Он пишет: "Кто не жил в конспирации, даже не вообразит этого отягощенного изматывающего состояния". Ведь от твоего поведения, от твоего решения, - продолжает он, - зависят "и многие дорогие тебе люди, и д е л о". Это была жизнь "в самозаточении, в томлении", каждую ночь могли придти гебисты, каждый неосторожный шаг мог погубить всё и всех. "Под гнетом потаенности и опасностей" мог ли, имел ли право Солженицын доверять свои тайны кому бы то ни было? Даже с помощниками-невидимками он был поневоле сдержан. "Такая была в те годы нечеловеческая сжатость, что кроме прямых дел и поговорить ни о чем не оставалось", - сетует он, вспоминая друзей.

Не зная этого, новомирцы недоумевали. 6 декабря 1967 года Кондратович записывает: "Почему он скрывается так, что сплошная конспирация /.../ Словно его преследуют..." И позже, в комментариях к записи от 3 января 68-го: "...А. Т. раздражала и отдаляла от Солженицына не разница позиции... В том-то и дело, что позиции в широком, не в частном смысле были близки. Раздражало поведение Солженицына. Он не мог, а скорее не хотел сказать прямо, что он думает /.../ Он не доверял А. Т., а А. Т. не понимал, почему. Почему остается не уголок, а целые области его

жизни, которые он скрывает, утаивает от нас? Разве мы не поймем его? А если даже и не согласимся с ним, то разве предадим его: это уже во всяком случае было исключено. Конечно, у Солженицына был за плечами такой крестный путь, какого не приведи бог иметь кому-либо. И это наложило отпечаток на его поведение. Мы это понимали. Но "играть" с А. Т. ему все-таки не стоило".

Теперь-то стало известно, что если это и была игра, то не с Твардовским, а со смертью. Да и как было поверить в осуществимость совместной наступательной тактики с новомирцами, поневоле осторожными! Приходилось скрывать порой даже шаги неконспиративного характера, ибо редактор легального журнала не мог их одобрить.

Так случилось, когда после исключения из ССП Солженицын решил распространить "Открытое письмо Секретариату Союза писателей РСФСР", где был брошен вызов идеологии, партии, всей системе. Накануне в дружеской беседе с Твардовским он решил за благо умолчать об этом отчаянно смелом шаге, заранее зная, что поэт станет яростно возражать против такой акции, опасаясь повредить "Новому миру".

Твардовский же, узнав о письме, был потрясен до глубины души. Его не только испугал непримиримый тон этого документа, но в еще большей мере оскорбила скрытность Солженицына. "Я видел А. Т. в разных состояниях, - записывает Кондратович 12 ноября 1969 года, - но в таком гневе, ярости и отчаянии, горе - не видел /.../ Это было потрясение". Казалось бы, поэт сделал окончательный вывод: "Я его похоронил... Да, похоронил". И - запил. "Ведь это не первый случай, - с горечью замечает Кондратович, - когда в тяжкие минуты он срывается и уходит от всего на свете, как бы закатывается в алкогольную тьму, тяжкую, вязкую, уже почти без счета и учета времени".

Но даже и на этот раз Твардовский не похоронил любимого писателя. Через несколько дней Солженицын прислал ему письмо, объясняя случившееся: "...всю жизнь свою я ощущаю как постепенный подъем с колен, посте-

пенный переход от вынужденной немоты к свободному голосу. Так вот письмо Съезду, а теперь это письмо были такими моментами *высокого наслаждения, освобождения души...*"

Приведя это письмо в "Теленке", Солженицын вспоминает, что Твардовский "и сам постепенно смягчился /.../ Говорил, вздыхая: "Да, он имел право так написать: ведь он в лагере был, когда мы сидели в редакциях". И... перечитывал Иван Денисовича ".

Но общаться все же они перестали. Прошло примерно три месяца. Наступили дни разгрома "Нового мира". И 10 февраля Солженицын пришел в редакцию к Твардовскому. Потекла дружеская беседа. Разрыва как не бывало! "Который раз он проявлял, насколько наши нелады ему тяжелее..." - заключает автор "Теленка".

Но... он не скрывал от сотрудников "Нового мира" своего отношения к тому, к а к погибал журнал. Кто-то передал его слова снятому редактору. Можно себе представить, какую боль это причинило Твардовскому, и без того потрясенному разгромом. С чувством глубокой грусти отмечает и Солженицын: "И снова, в который раз, наша утлая дружба с Трифонычем утонула в темной пучине. Придушенные одним и тем же сапогом, замолкли мы - врозь".

Но пришел смертный час поэта, и отошло всё злободневное, суетное, осталось главное, вечное. С чисто солженицынской силой рассказано в очерках "Бодался теленок с дубом" о свидании автора с другом, разбитым параличом: "Когда Трифонычу особенно требовалось высказаться, а не удавалось, я помогающе брал его за левую кисть, - теплую, свободную, живую, и он ответно сжимал - и вот это было наше понимание... Что между нами все прощено. Что ничего плохого как бы и не бывало - ни обид, ни суеты..."

* * *

В заключение хочу подчеркнуть: вопрос не стоит - кто виноват, кто прав? чье общественное поведение было более

прогрессивным? чья тактика оказалась вернее? Зажженный Твардовским факел погасить оказалось невозможным, как невозможно было ослабить великую роль Солженицына в духовном распрямлении общества. Вот почему мы вправе сказать: редактор "Нового мира" и автор "Архипелага ГУЛАГ" - каждый по-своему "неутомимо расшатывал камни дряхлеющей стены".

ПРИМЕЧАНИЯ

При цитировании одного и того же документа ссылка на источник дается лишь при первом его упоминании. В случае, когда слова в цитатах выделены не мною, а автором текста, это специально не оговаривается.

1. "Из истории общественно-литературной борьбы 60-х годов. Твардовский, Солженицын, "Новый мир" по документам Союза писателей СССР". Публикация Ю. Буртина и А. Воздвиженской. "Октябрь" №№ 8-11, 1990.

2. А. Солженицын. "Бодался теленок с дубом". Париж, ИМКА-Пресс, 1975. В России публикация осуществлена впервые в "Новом мире", №№ 6-8, 1991. Далее цитаты даются по парижскому изданию, сверенному с журнальным текстом.

3. Отрывки из Шестого и Седьмого дополнений напечатаны в журнале "Вестник русского христианского движения", № 137, Париж, 1982.

4. С резкой критикой выступил В. Лакшин в журнале Жореса Медведева "Двадцатый век", № 2, Лондон, 1977. Аргументация Лакшина строится на неверном цитировании; во многом обвинения, предъявленные Солженицыну, совпадают с инсинуациями советской прессы тех лет (автор "Бодался теленок с дубом" таит "злобу к стране и людям, оставшимся в ней", и т. п.). В книге воспоминаний "Открытая дверь" (Москва, 1989) и в дневнике "Новый мир" времен Хрущева", как и в позднейших добавлениях к дневнику ("Знамя", №№ 6-7, 1990), Лакшин говорит о Солженицыне совершенно по-иному и ни разу не упоминает своей старой статьи 1977 года. В статье Роя Медведева "Твардовский и Солженицын" ("Советская Россия", 26 октября 1991) повторяются многие упреки и аргументы, приводимые в лондонской статье Лакшина.

5. А. Солженицын. "Бодался теленок с дубом". Пятое дополнение. Невидимки. "Новый мир" №№ 11-12, 1991.

6. А. Твардовский. Рабочие тетради (1953-1960). "Знамя" №№ 7-9, 1989.

7. Стенограммы Секретариата ССП СССР, а также другие документы, связанные с историей "Нового мира", опубликованы Ю. Буртиным и А. Воздвиженской (см. 1-е примечание).

8. А. Кондратович. Новомирский дневник (1967-1970). Москва, 1991.

9. А. Солженицын. "Архипелаг ГУЛАГ". Собрание сочинений. Вермонт - Париж, 1980, том пятый.

10. А. Твардовский. Из речи на XXII съезде КПСС. Собрание сочинений в пяти томах. Том пятый. Москва, 1971.

11. Стенограмма заседания Президиума Правления ССП от 24 марта 1953 г. опубликована А. Берзер в кн.: С. Липкин. Жизнь и судьба Василия Гроссмана. А. Берзер. Прощание. Москва, 1990.

12. Письмо Твардовского в Президиум ЦК, датированное 10-11 июня 1954 г., приводится в его "Рабочих тетрадях" (запись от 7 июня 1954 г.).

13. С. Липкин. Жизнь и судьба Василия Гроссмана. (См. 2-е примечание.)

14. В. Лакшин. "Новый мир" времен Хрущева". (См. 4-е примечание.)

15. Этот документ, как и приводимые далее, опубликованы Ю. Буртиным и А. Воздвиженской. (См. 1-е примечание.)

* * *
*